***НАШ ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ***

***Вячеслав Пьецух***

Учитель древнегреческого языка Беликов, в сущности, не знал, чего он боялся, и умер от оскорбления; учитель русского языка и литературы Серпеев отлично знал, чего он боялся, и умер оттого, что своих страхов не пережил. Беликов боялся, так сказать, выборочно, а Серпеев почти всего: собак, разного рода привратников, милиционеров, прохожих, включая древних старух, которые тоже могут походя оболгать, неизлечимых болезней, метро, наземного транспорта, грозы, высоты, воды, пищевого отравления, лифтов, – одним словом, почти всего, даже глупо перечислять. Беликов все же был сильная личность, и сам окружающих застращал, постоянно вынося на? люди разные пугательные идеи; Серпеев же был слаб, задавлен своими страхами и, кроме как на службу, во внешний мир не совал носа практически никогда, и даже если его посылали на курсы повышения квалификации, которыми простому учителю манкировать не дано, он всегда исхитрялся от этих курсов как-нибудь увильнуть. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте.

Уже четырех лет от роду он начал бояться смерти. Однажды малолетнего Серпеева сводили на похороны дальней родственницы, и не то чтобы грозный вид смерти его потряс, а скорее горе-отец потряс, который его уведомил, что-де все люди имеют обыкновение умирать, что-де такая участь и Серпеева-младшего не минует; обыкновенно эта аксиома у детей не укладывается в голове, но малолетний Серпеев ею проникся бесповоротно.

Ребенком он был, что тогда называлось, интеллигентным, и поэтому его частенько лупили товарищи детских игр. Немудрено, что во всю последующую жизнь он мучительно боялся рукоприкладственного насилия. Стоило ему по дороге из школы домой или из дома в школу встретить человека с таким лицом, что, кажется, вот-вот съездит по физиономии, съездит ни с того ни с сего, а так, ради простого увеселения, как Серпеев весь сразу мягчал и покрывался холодным потом.

Юношей, что-то в начале 60-х годов, он однажды отстоял три часа в очереди за хлебом, напугался, что в один прекрасный день город вообще оставят без продовольствия, и с тех пор запасался впрок продуктами первой необходимости и даже сушил самостоятельно сухари; автономного существования у него всегда было обеспечено что-нибудь на полгода.

В студенческие времена в него чудом влюбилась сокурсница по фамилии Годунова; в объяснительной записке она между делом черкнула «ты меня не бойся, я человек отходчивый» и вогнала его во многие опасения, поскольку, значит, было чего бояться; действительно, из ревности или оскорбленного самолюбия Годунова могла как-нибудь ошельмовать его перед комсомольской организацией, плеснуть в лицо соляной кислотой, а то и подать на алименты в народный суд, нарочно понеся от какого-нибудь третьего человека; с тех пор он боялся женщин.

Впоследствии мир его страхов обогащался по той же схеме: он терпеть не мог подходить к телефону, потому что опасался ужасающих новостей и еще потому что, было время, ему с месяц звонил неопознанный злопыхатель, который спрашивал: «Это контора ритуальных услуг?» – и внимательно дышал в трубку; он боялся всех без исключения звонков в дверь, имея на то богатейший выбор причин, от цыган, которые запросто могут оккупировать его однокомнатную квартиру, до бродячих фотографов, которых жаль до слезы в носу; он боялся всевозможных повесток в почтовом ящике, потому что его однажды по ошибке вызвали в кожно-венерологический диспансер и целых два раза таскали в суд; он боялся звуков ночи, потому что по ночам в округе то страшно стучали, то страшно кричали, а у него не было сил, если что, поспешить на помощь. Между прочим, из всего этого следует, что его страхи были не абстракциями типа «как бы чего не вышло», а имели под собой в той или иной степени действительные резоны.

То, что он боялся учеников и учителей, особенно учителей, – это, как говорится, само собой. Ученики свободно могли отомстить за неудовлетворительную отметку, чему, кстати сказать, были многочисленные примеры, а учителя, положим, написать анонимный донос, или оскорбить ни за что ни про что, или пустить неприятный слух; по этой причине он с теми и другими был прилично подобострастен.

В конце концов Серпеев весь пропитался таким ужасом перед жизнью, что принял целый ряд конструктивных мер, с тем чтобы, так сказать, офутляриться совершенно: на входную дверь он навесил чугунный засов, а стены, общие с соседями, обил старыми одеялами, которые долго собирал по всем родственникам и знакомым, он избавился от радиоприемника и телевизора из опасения, как бы в его скорлупу не вторглась апокалипсическая информация, окна занавесил ситцевыми полотнами, чтобы только они пропускали свет, на службу ходил в очках с незначительными диоптриями, чтобы только ничего страшного в лицах не различать. Придя из школы, он обедал по-холостяцки, брал в руки какую-нибудь светлую книгу, написанную в прошлом столетии, когда только и писались светлые книги, ложился в неглиже на диван и ощущал себя счастливчиком без примера, каких еще не знала история российского человечества.

Теперь ему, собственно, оставалось позаботиться лишь о том, как бы избавиться от необходимости ходить в школу и при этом не кончить голодной смертью. Однако этот вопрос ему казался неразрешимым, потому что он был порядочным человеком, и ему претила мысль оставить детей на тех злых шалопаев, которые почему-то так и льнут к нашим детям и которые, на беду, составляли большинство учительства в его школе; кроме того, он не видел иного способа как-нибудь прокормиться.

Со временем эта проблема решилась сама собой. Как-то к нему внезапно явилась на урок проверяющая из городского отдела народного образования, средних лет бабенка с приятным лицом, насколько позволяли увидеть его диоптрии. К несчастью, то был урок на самовольную тему «Малые поэты XIX столетия», которой Серпеев подменил глупую плановую тему, что он вообще проделывал более или менее регулярно. К вящему несчастью, Серпеев был не такой человек, чтобы немедленно перестроиться, да и не желал он перестраиваться на виду у целого класса, и, таким образом, в течение тридцати минут разговор на уроке шел о первом декаденте Минском, который в свое время шокировал московскую публику звериными лапами, привязанными к кистям рук, о Якубовиче, авторе «на затычку», о самоубийце Милькееве, пригретом Жуковским из непонятных соображений, и особенно некстати было процитировано из Крестовского одно место, где ненароком попался стих «И грешным телом подала» – не совсем удобный, хотя и прелестный стих.

Проверяющая была в ужасе. На перемене она с глазу на глаз честила Серпеева последними словами и в заключение твердо сказала, что в школе ему не место. Но потом она присмотрелась к ненормально забитому выражению его глаз, подумала и спросила:

– Послушайте: а может быть, вы чуточку не в себе?

И тут Серпееву, с эффектом внезапного электрического разряда, пришло на мысль, что это они все чуточку не в себе, а он-то как раз в себе. Через несколько минут он окончательно в этом мнении укрепился, когда вышел из школы и возле автобусной остановки увидел пьяного учителя рисования с настоящей алебардой и слепым голубем на плече.

Дня два спустя от директора школы последовало распоряжение подать заявление об уходе. Серпеев заявление подал, и у него как гора с плеч свалилась, до такой степени он почувствовал себя выздоровевшим, что ли, освобожденным. Вот только детей было жаль, особенно после того, как к нему в вестибюле подошел середнячок Парамонов и сказал, что он не представляет себе жизни без его уроков литературы.

– Без уроков русского языка, – далее сказал он, – я ее себе очень даже представляю, но литература – это совсем другое.

Парамоновские слова натолкнули Серпеева на идею, так сказать, внешкольного курса словесности, который он мог бы вести для особо заинтересованных учеников хотя бы у себя дома. Таким образом, этическая сторона его отступления была обеспечена: человек пятнадцать-двадцать ребят из старших классов стали приходить к Серпееву дважды в неделю, и он по-прежнему учил их, если можно так выразиться, душе, опираясь главным образом на светлую литературу XIX столетия.

Знал Серпеев, чего боялся, да не до логического конца. Месяца через два после начала занятий, в назначенный день недели, к нему явился один середнячок Парамонов и сообщил, что прочие не придут.

– Почему?.. – спросил его Серпеев в горьком недоумении.

– Потому что нам велели на вас заявление написать. Что вы на дому распространяете чуждые настроения. Конечно, кто же после этого к вам придет!

– Но ведь ты-то пришел, – с надеждой сказал Серпеев.

– Я человек конченый, – ответил Парамонов, неизвестно что имея в виду, откланялся и ушел.

Словом, случилось худшее из того, чего только мог ожидать Серпеев, – его вот-вот должны были арестовать и засадить в кутузку за подрывную агитацию среди учащейся молодежи. Он сорок восемь часов подряд ожидал ареста, а на третьи сутки с ним приключилась сердечная недостаточность, и он умер.

В глазах коллег и кое-каких знакомых он ушел из жизни с репутацией просто несчастного человека, и это обстоятельство заслуживает внимания: сто лет тому назад учителя Беликова с большим удовольствием провожали в последний путь, потому что держали за вредную аномалию, а в конце XX столетия учителя Серпеева все жалели. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте.